Ты уже хотел передернуть плечами, потянуться, молодецки расправиться, как обнаружил, что к тебе родственно приникла девушка, довольно-таки стильно одетая, осторожно отстранился, прислонил ее к стене, поднял шапку-финку, хлопнул о колено, насунул соседке почти на нос, поискал что-то глазами и сразу увидел искомое, меня стало быть: «Посиди, дяхан, — буркнул, — на моем месте, я в уборную схожу». Назвав тебя в благодарность племянничком, я со стоном облегчения опустился на низкую отопительную батарею, сверху прикрытую отполированной доской. Для красоты, надо понимать.

Ты вернулся, остановился против меня и долго ничего не говорил.

— Ну и как же нам быть? — буркнул наконец, глядя в сторону.

— Ведь ты моряк, братишка, я — бывший пехотинец, все мы простые советские люди, и жить, стало быть, нам надобно по-братски: ты посидел и поспал, теперь я посижу и посплю.

— Тебе ж ногу оттопчут.

— О ноге не беспокойся, новую выдадут, в казенном месте и за счет казны. У этой нонче как раз срок выходит...

Проснулась и девица, пощупала шапку, вбила под нее волосы, зевнула и приказала тебе караулить место. Под задом соседки, на доске обнаружился во всю ширь раскрытый последний выпуск «Роман-газеты» с моим произведением. Ты сел на место девушки и начал неохотно листать «Роман-газету». У меня не было сил даже на ужас, что охватывает меня всякий раз, когда я вижу при мне читаемые мои шедевры. Случалось это всего раза четыре за жизнь.

Еще «в начале моего творческого пути» увидел я однажды, как читали мою книжку в электричке, и сразу со страху меня прошиб пот, объяло меня чувство казнимого старым способом еретика, под задом вроде бы затлели угли, и, чтоб их не раздуло в пламень, перешел я, от греха подальше, в другой вагон. И потом при встречах со своими творениями бывали у меня возможности вовремя смыться. Но однажды попал так попал! В самолете сидит сбоку тетка и, как ни в чем не бывало, почитывает мою книжку. Я их, свои книжки, узнаю сразу оттого, что на обложке каждой рисуют мне художники леснну, чаще всего ель, поскольку родился я в таежном краю. По ели, значит, и ориентируюсь в книжной тайге. Из самолета не выпрыгнешь! Свободных мест нигде нету, тетка, как на грех, глазастая да интеллектуальная оказалась: шасть ко мне с французским изящным карандашиком: «Ой, простите, пожалуйста, автографик...» Я чего-то пытался сказать и написать шутливое, народ ближний начал озираться, перешептываться. Какие уж тут шутки! А, боже милостивый!

Вы оба с настороженным любопытством смотрели на меня. Я догадался, в чем дело, и, когда девушка сунула мне «Роман-газету» под нос, показывая на мою давнюю, огалстученную фотографию, вопросила: «Это — вы?!» — я отстранил руку с книжкой.

— Я! Я! Не похож? Старею!

— Ну вот, а ты спорила!.. — подавленно, почти разбито выдохнул ты и вдруг резко, с одного поворота: — Сейчас я пойду! Сейчас я им скажу! Над писателем... Над инвалидом войны глумиться!..

— Да кто глумится-то? — поднимаясь, сказал я буднично. — Господь бог? Это он нелетную погоду сотворил. И при чем тут писатель, инвалид? Все люди, все человеки, и инвалидов на вокзале небось десятки собралось... Раз моряк, покажи-ка лучше где-нибудь воду какую-нибудь.

— Как вы так можете? Вам же тяжело...

— А кому, братишка, легко? Бывало и тяжелее... Не бери в голову, как говорят нынче.

Когда мы попили из горного ручья сладкой, голубой в пузырьках воды, умылись, отдышались и я, посмотрев на полыхающие осенним, ярким пожарищем клены, на красной лавой облитые хребты, на засиневшее за ним дальше и выше безгрешно чистое небо в кружевной прошве по краям, выдохнул: «Хорошо-то как! — и, обернувшись к тебе, сказал: — Вот как мало надо человеку для счастья!..» — ты все это тоже обвел взглядом: склоны, горы, небо и угрюмо предложил: «Я позову ту мадаму и перенесу манатки, ладно?»

Ах, какой это был день! Упоительный, правда? И хорошо, что не сразу, не вдруг ты мне признался, что пытаешься заниматься этим проклятым и самым, в моем рассуждении, захватывающим делом — литературой. Хорошо, что была девушка по имени Люда, такая потом умытая, свеженькая, рыженькая, глаза в солдатскую ложку, и как закатит их вбок — яркая, аж слепит, фарфорная бель с блеском. Лицо вытянутое, недозавершенное вроде бы, но в этой-то недозавершенности вся и прелесть, полюбишь — и завершай, воображай, дописывай, лепи — есть место для работы и уму, и сердцу. Признаюсь тебе: мне всегда такие вот, вроде бы неладные и нескладные, не вовсе, не до конца сложенные лица нравились нестандартностью своей. Любовь — это творчество. Всегда творчество. Мы любим в других то, чего нет в нас, если нет этого и в других — выдумываем, внедряем, делаем людей лучше, чем они есть на самом деле. Увы, женщинам, сотворенным нами и с помощью нашей, начинает казаться, и не так уж редко, что они и были всегда такими, совершенными, и не понимают, что любящая душа отдала ей все, что имела, опустошившись при этом и не обогатившись ответно. Обогащение души одной другою, переливание крови из сердца в сердце — редкое явление, и потому так часто и быстро истощается, иссякает энергия великого и пресветлого чувства. Говорят, хотя и старомодно, но точно: сердце ее (или его) сгорело от любви.

И вот, значит, я тогда маленько, чуть-чуть подзанял тепла у молодого девичьего сердца, но оно так горячо и сильно, что девушка не заметила «утечки», она просто чувствовала, что нравится, и ей нравилось нравиться. Ты почему-то не влюбился в Людочку? Видно, женщины идут у тебя по морской классификации...

И я, знающий уж вроде бы пишущую братию, не вдруг догадался, отчего интерес твой возрастал не к девушке, а ко мне, и, по мере того как распогожива-

лось небо и все чаще и чаще гудели аэропланы над головой, делался ко мне внимательней.

Повторяю: это был чудесный день в моей жизни, день яркой дальневосточной осени, который, поверь мне, много свету повидавшему, сравнивать не с чем. Люда была весела, категорично-хозяйственна и говорлива. Ей прескучило общество учителей поселковой средней школы, все люди казались девушке значительными, содержательными, и мы тоже. Она много читала, даже что-то спела. И знаешь отчего? Да просто Людочке не с кем было поделиться тем богатством, которое она приобрела не очень-то легким трудом. Просто так ей давался лишь некий налет иронии и переутомленности интеллектом. Но на «этом уровне» сейчас работают многие молодые люди, однако она-то, самая видать интеллектуальная учительша в своей школе, этого не знала.

Ах ты, боже ты мой, как, омывшись в ручье и с моего позволения оставшись в самом последнем прикрытии тела — закаленная, свободная, смелая! — в купальнике цвета неба с косыми белыми полосками на груди, коим надлежало изображать волну, и волна еще получалась на гибком ее теле, хорошо развитом, — как она, взобравшись на камень, из расщелины которого рос клен детсадовского возраста, обвешанный праздничными флажками, лопушистый, доверчивый, и поглаживая его, будто родное, долгожданное дитя, вскинув руку, кричала, вот именно кричала, звонко и страстно: «Лесом мы шли по тропинке единственной в поздний и сумрачный час. Я посмотрел: запад с дрожью таинственной. Гас. Что-то хотелось сказать на прощание — сердца не понял никто; что же сказать про его обмирание? Что? Думы ли реют, тревожно несвязные, плачет ли сердце в груди, — скоро повысыплют звезды алмазные. Жди!»

Девочка, девочка! Как она хотела в ту минуту, чтобы ее любили, чтоб нашелся кто-то, кто увидел бы, как она прекрасна, умна, целомудренна и какой восторг жизни раздирает ее грудь...

Не знаю чем, но с молодости, с бедной моей, инвалидной молодости я каким-то образом вселял бесовство в девушек, всегда они при мне хотели выглядеть способными на высокое чувство и всепрощение. А ведь я ничего не делал для этого, просто внимательно слушал, смотрел на них без мужского высокомерия, иногда у меня навертывались слезы на глаза от жалости к себе, они думали — к ним, словом, какое-то во мне «демонское стреляние» угадывали. Наверное, это и есть мой единственный талант, «тайна его», высокопарно говоря.

Но бывало и так, что бабы и девки, потерянные, грязные, запущенные, говорили, даже кричали, о том, что ненавидят меня. Я и тут их понимаю. Я многое начал понимать, мой молодой друг, а это всегда опасно. Писателю надо больше чувствовать, но понимать необязательно, его понимание равносильно убийственному: «Музыку я разъял, как труп», но людям-то не труп нужен, музыка, тайна нужна, и хорошо бы хоть немножко жутковатая.

Полагаю, что как раз вот этого — тайны или предчувствия ее — и недостает не только твоей повести, но и всем произведениям твоих сверстников, в особенности современной лирике.

Ах, как мне тогда хотелось, чтоб ты полюбовался Людочкой, порадовался ее порыву к головокружительному полету, когда женщина на все готова и нисколько не сожалеет потом о свершенных глупостях. Но ты отчего-то сердито пластал ножом консервные банки, резал хлеб, полоскал в ручье помидоры, огурцы, остужал поставленную в воду «злодейку», и я помню, как отмочило с бутылки наклейку, завертело, понесло куда-то слово «водка», и успел еще подумать: «Унесло бы ее, заразу, от нас куда-нибудь навсегда» — это было задолго до постановления о борьбе с алкоголизмом, поэтому не подумай, что я подлаживаюсь под злободневность.

Гуще залетали самолеты. Мы задирали головы и согласно утверждали: «Не на-а-аш!..» Как хорошо было там, возле голубого, пенистого, холодного ручья, вырывающегося из раскаленных высоких гор. Как хорошо! И водочки маленько — не помешало, и горный воздух пьянящ был от горечи увядания, и некая сомлелость рассудка. Даже я напряг свою память, и мне, старому грешнику, тоже захотелось кого-нибудь порадовать и даже очаровать, я забыл про свой протез, про седины, и посейчас мне отчего-то не стыдно того глупого забвенья.

Ну ладно, довольно.

Сейчас я тебе напомню, как мы прощались. Людочка вдруг присмирела, ужалась, несчастненькая сделалась и сразу подурнела. У выхода обняла меня совсем некрепкими, совсем немускулистыми, слабыми женскими руками и по-женски же, беззащитно, с неизбывной бабьей печалью, молвила: «Спасибо вам, Вячеслав Степанович! Это был самый лучший день в моей жизни! Самый-самый!..» С трудом сдерживаясь, потупившись, я привычно съерничал: не мне, мол, Министерству гражданской авиации надо говорить спасибо. «Не надо, Вячеслав Степанович!» — попросила Людочка жалобно и ушла на свое место, туда, на батарею, прикрытую полированной доской, на которой лежала моя жалкая повесть, печальнее которой в ту минуту и в самом деле для меня не было на свете. Я презирал, ненавидел и себя, и книгу свою. И когда Людочка закрыла лицо широкими серыми, что солдатская портянка, страницами «Роман-газеты», мне захотелось броситься, выхватить, изорвать в клочья бумажное изделие.

Но ты удержал меня, указав кивком головы на последних пассажиров, выходящих из «накопителя» (слово-то, слово какое! Ей-богу, правда, что слово есть лицо своего времени, но слова могут быть — мордой своего времени, это слово — мурло его), — и тут ты мне сунул полиэтиленовый кулек с нарисованными на нем окунями, зелеными, полосатыми, дородными окунями, какие в наших внутренних водоемах давно повывелись. Вместо них шныряют и на все клюют «вшивики», «хунвейбины», «бичи» — как их именуют нынешние рыбаки, уже в школьном возрасте «половозрелые», икряные, — сунул, значит, кулек и, отвернувшись, пробубнил: «Вячеслав Степанович, дайте слово, что не заглянете в пакет до дома».

Я дал слово. Чего ж не дать-то? Я тоже сын своего времени. Дал и тут же забыл — эко диво! И не только забыл — нарушил его. Уселся в самолет, устроился поудобней — и нарушил. Вот если б ты не брал с меня слова, мне бы и соблазна не было нарушать его. Я бы и не заглянул в тот куль до дома, возможно, и дома, сдавши его на руки жене, не заглянул бы.

Мы долго сидели в Чите. И вот там, в Чите, я и решил отослать твой куль обратно, со злой припиской: «В следующий раз присылай одну икру».

Идея не моя. Я упер ее. В одно парижское издательство какой-то кондитер повадился присылать свои толстенные рукописи и к ним обязательно прилагал коробку дорогих конфет. Находчивые парижские издатели написали автору, чтоб в следующий раз он присылал только конфеты.

У тебя нету конфет дорогих, и ты приложил к рукописи три баночки икры — «сами не едим, зато дарим», — говорил один дальневосточник про эту злосчастную икру, которую, когда ее было много, не покупали даже по дешевке. У меня есть любимая племянница, и я подумал, что, может быть, ей, всесторонне одаренной не только аллергией, головокружением, течью крови из носа, но и художественными способностями, захочется солененького, наладится у нее аппетит, и здоровье ее пойдет на поправку, да еще к рукописи была приложена тельняшка, она отчего-то меня умилила, что-то во мне стронула, растревожила, но что — я долго не мог понять.

Ты, наверное, обратил внимание на якорь, наколотый на моей левой руке — это дань поветрию тридцатых — мы все тогда в детстве мечтали сделаться моряками, пограничниками, командирами. Чуть повыше якоря досе белеют пятна — это меня заживо жгли накаленным гвоздем, чтоб привыкал к боли и, если на войне меня, раненного, в бессознательном состоянии, возьмут в плен фашисты, терпел бы и «никого не выдал». Мы по битому стеклу ходили босиком, волосья друг у дружки выдирали, пальцы меж досок плющили, иголки патефонные ели, в ледяной воде, еще в заберегах, купались, сутками хлеба не потребляли, воду не пили, чтоб «закалиться», чтоб на случай битв с врагами стойкость и непреклонность выработать.

Смешно? Забавно? Не очень. После того как, улучшая позиции, мы на половину России выпрямили линию фронта, потеряли технику — нашим главным и неизменным оружием была стойкость. И ей, прежде всего ей, мы обязаны Победой.

Вот так, мой молодой друг — моряк, который слишком долго плавал, а мне, несмотря на якорь, любая лужа в диковину, я и море-то увидел совсем недавно, в круизе, вокруг Европы оборачиваясь в качестве туриста.

И вот приели мы всей родней икру, — племяннице ее есть не рекомендуется; прочел я твою рукопись вместе с десятком таких же, чисто, даже хлестко, писанных, и тельняшку к себе «приносил» — я прочно прирастаю к вещам, и они ко мне тоже, но все что-то не отстает, тревожит меня. В длинном письме, отосланном вместе с рукописью, благодаря тебя, не за рукопись, за икру и за тельняшку, я тебе писал, что это первая тельняшка в моей жизни, но я впал в непростительную забывчивость и в черную неблагодарность.

Чтобы рассказывать дальше, мне придется припомнить свою биографию, совсем необременительную, а то ведь ваш брат нынче наших «биографиев» не читает, сразу заглядывает в конец книги, подсчитывает количество листов, тираж и сколько автор отхватил гонорару.

Так вот. Детство мое прошло в заполярной ссылке. Не я был в ссылке, мои деревенские родители, ну и коль у них не было моды оставлять детей в роддомах, Домах ребенка и детдомах, то они прихватили нас, пятерых детей, с собою — в качестве обременительного багажа — более у них никакого имущества не было. Отец мой был физически здоровым, крепким мужиком, и его за все за это поставили на выкатку леса с зимней реки, проще говоря: с бригадой таких же здоровенных мужиков он выдалбливал вмерзшие в лед плоты и вывозил их на берег, к заводишку с железной трубой, где одышливая машина, соря опилками, превращала лес в доски, в брусья и шпалы. Отец не раз падал в воду, простудился, заболел цингой и умер. Мать у нас была деревенская, белая ликом и выдающаяся статью, красавица. Бог поступил с нею так же, как и со многими красивыми людьми, — наделяя их красотою, он больше ничего к этому не добавил, считая, что для человеческого счастья и безбедного существования и этого вполне достаточно, ум пригодится и некрасивым, бог — это вам не заведующий закрытого ларька, он все делит меж чад своих по справедливости, но не по занимаемой ими должности.

Безвольная, на ногу не скорая, умом вялая и, хотя и деревенская, по дому почти ничего не умеющая, привыкшая жить за спиной родителей и мужа своего, без ума ее любившего, мама моя растерялась, упала духом, стала опускаться, гулять и даже попивать. Нас троих, младшеньких, весной усадили на пароход и отвезли в областной город, в детдом. Двое старших парней уже работали и скоро, один за другим, поступили учиться на военные курсы, затем снизошла на них милость, разрешено им было служить в армии, откуда они уже не вернулись, сделавшись кадровыми военными. Войну они встретили в чинах, правда небольших, и погибли на фронте в первых же боях.

Нас троих в детдоме почему-то разделили, наверное, не хватало мест, и я потерял из виду своих двух сестренок. Навсегда. Мать наша тем временем не раз сходилась с мужчинами, наконец «вышла замуж» и, винясь перед нами, что ли, стала искать своих детей, и нашла меня, самого младшего, и у нее хватило ума вытянуть меня из детдома. У меня хватило того же, маминого, недлинного, ума — оставить детдом и податься на зов родителей. Новых!

Устроена была моя мама в станке Карасино хорошо, в хорошем доме, точнее, в половине его, к мага-

зину пристроенном. Муж ее, пан Стас, по происхождению поляк, работал продавцом в магазине, но именовал себя завмагом и завскладом, потому как летней порой принимал от рыболовецких бригад рыбу, карасинцы под его руководством обрабатывали ее и отправляли на городской рыбозавод. Пан Стас был сухопар, строг, подчеркнуто честен, картинно, как и все поляки, патриотичен, ничего не присваивал, не воровал, да ему и воровать ничего не надо было — все находилось «под рукой», все почти «свое», даже и ребенок свой появился — моя новая и, как оказалось после, вечная сестренка Зоська. Ей шел седьмой годик. Девчонка, разодетая будто куколка, росла резвая, сытенькая, общительная, и я сразу привязался к ней, а она ко мне. Так и до сих пор. Нет уже мамы, да и пан Стас далече. Зоська же — самая родная душа — осталась со мной навсегда. Спасибо маме и пану Стасу хоть за нее.

Почему-то меня поместили спать на чердаке, среди магазинного хлама и ломи ящиков. Дали потник, подушку в серой наволочке, старое, еще в отцовской деревне стеженное одеяло, пропахшее мочой и потом. Мне, привыкшему к казенной койке, к полосатому матрацу, к постели с двумя простынями, с чистой подушкой, пусть и стружками набитой, показалось это не то чтоб обидным, но как-то вот задело меня, вроде как я скотина какая и стойло мне отдельное определено. Среди лета на чердаке начали жучить меня комары, я расчесал тело, и пан Стас запретил мне общаться с Зоськой, помогать ему на складе и в работе на рыбоделе, потому как я «есть чесоточный» и, пока не вылечусь, мажась дегтем, «до общественного труда и дзетя пущен быть не могу». Тогда я и познал, что такое быть шелудивым, усвоил смысл жестокой пословицы: «Паршивую птицу и в стае клюют».

А я ведь уже беспризорной воли хватил, детдомовщины, строптив, зол и упрям был. Чувство бросовости моей и одиночество толкнули меня на неблаговидные «поступки» — я закурил, попробовал вина с разделочницами рыбы, расстегнул до пупа рубаху, плевал через губу, говорил по-блатному, пришепетывая, стал называть пана Стаса пренебрежительно — Стасыч, ругал его словами, у него же перенятыми: «пся крев, сакраментска потвóра». Мать вообще в «упор не видел», презирал ее открыто, на всех сельдючат смотрел с вызовом, и, когда карасинские парнишки неизвестно за что и почему решили меня отлупить, я, сузив глаза до беспощадности кинжального лезвия, показал им кончик палочки из кармана, будто ручку ножа.

Нагнал я страху на мирное карасинское население. Ребятишки, идущие встречь мне, перебегали на другую сторону улицы, прятались за углы стаек, меня даже за молоком для Зоськи не посылали. При моем появлении матери-сельдючихи хватали своих неразумных сельдючат и по-капалушьи, героически прикрывая их юбками и телами, поскорее уносили в жилище.

Ни единой живой души в станке Карасино, кроме малой Зоськи, «за меня» не было. Особенно люто меня ненавидел, дразнил, высмеивал Мишка Еремеев. Мой неожиданный папуля — пан Стас был тому виной: тетка Мишки Еремеева, у которой воспитывался и жил Мишка, где-то и как-то потерявший родителей, «служила» в магазине уборщицей и прирабатывала на прокорм себе и детям на разделке рыбы. Рожденная от русского отца и карасинской сельдючихи, родословная которой в совсем близком колене упиралась в местных инородцев: косолапая, почти безбровая, с узенькими щелками глаз на круглом и желтом лице, с провисшим животом и жидкой грудью — где могла устоять она против пышнотелой моей мамы?! Пан Стас был разборчивый сладкоежка и, как «мобилизовал» мою маму из города «до Карасино», Еремеиху с должности согнал, перестал ее замечать, а у Еремеихи-то четверо своих да пятый Мишка — в придачу. Муж — обыкновенный местный рыбак в колхозной бригаде, весом килограммов сорока и росту около полутора метров. Пил, конечно, как и все здешние трудяги, «до упору» — ребятишки, случалось, неделями питались одной рыбой. Что такое есть одну рыбу, которая уж через неделю становится безвкусна, как трава, — не мне тебе, полóвину земного сроку проболтавшемуся «на рыбе», объяснять.

Мама моя хоть и была «на должности», однако никаким делом не занималась, убирали в магазине за нее сельдюшки из рыботдела, когда она ходила на сносях — обихаживали и дом, да так это в «паньстве великовельможном» и закрепилось: мама жила панной, ничего не делала, занималась лишь собой и ребенком, которого, впрочем, тоже часто смекала сбыть мне. Ходила моя мама по серому станку, средь серого народа разряженная, помолодевшая, какая-то совсем не здешняя, даже и мне незнакомая, играла на патефоне пластинки, выучила с них несколько городских песен «изячного» содержания: «Наш уголок нам никогда не те-е-есе-ен, когда ты в не-ом, то в нем цветет весна, не ух-хо-о-оди-и-и. . .», — стала говорить: «знанци-пониманци», «но это ж же смешно-о!» или, наоборот, — «божественно», «бесподобно», и все домогалась: «Слав! Слав! Скажи, какую книжку про культуру почитать? . .»

Культурное ее развитие набирало стремительный разбег. Пан Стас научил жену пользоваться ножом и вилкой, отдельными тарелками для всех, по праздничным, торжественным дням — салфетками. Мама пыжилась и сражала наповал карасинское население культурой. Водилось «паньство» только с местной интеллигенцией: председателем и бухгалтером сельсовета, учителем и учительницей, агрономом совхоза и радистом метеостанции. Среди этой своры оказался-таки человек, которого, с натяжкой правда, можно было причислить к «интеллигенции», пусть и технической, — это радист. Человек среднего возраста и для города — средних возможностей, здесь он слыл личностью почти выдающейся — владел электроприборами, радио, кинопередвижкой, кое-что почитывал, баловался музыкой — играл на мандолине, заводил патефон, не гробя пружины. Такой ошеломляющей культуры человек не мог не пользоваться восхищением и тайным расположением моей мамы. Пан Стас, в общем-то ничего, кроме шляхетского гонора и вы-

годной должности не имеющий, дошел в тайной ревности до того, что однажды, во время попойки, встал из-за стола, руки по швам, вытаращил и без того круглые, выпуклые глаза и грянул, сжав кулаки: «Еще польска не сгинела!..» — аж у всех волосы поднялись, и я думал, что пан Стас когда-нибудь порешит радиста, маму мою и себя вместе с ними.

«Повсюду страсти роковые...» — даже в станке Карасино! От них никуда не деться. Народишко, обитавший в сем поселении, мелкий, ничтожный, затурканный «интеллигенцией», лебезил перед моей мамой и паном Стасом, боялся радиста, как древние греки громовержца Зевеса боялись, и выбрал для отмщения посильную жертву — меня. Мишка Еремеев, сухой телом, с тяжелым, как у взрослого мужика, лицом, скулы с кулак величиной, кисти рук жилистые. Скулы, занимавшие основное место, придавали лицу подростка уродливое, каторжное выражение. Там, на лице, было еще что-то: и глаза, голубые вроде бы, и брови, пусть и северные, почти бесцветные, и нос, да вроде бы с горбинкой, еще рот, широкий, всегда мокрый, с обкусанными до болячек губами, но помнились, резали глаз, подавляли все остальное выпуклые кости скул.

Я не то чтобы боялся Мишки, но отчего-то виноватым себя перед ним чувствовал и первым пошел с ним на сближение: скараулил возле школы, где он пас на поляне бычка и еще двух голозадых сельдючат — детишек Еремеевых, — я с детдомовским прямодушием протянул ему руку: «Держи лапу, кореш! Будем пасти скотину вместе...»

Мишка словно ждал моего этого шага, словно готовился к нему и заранее копил гнев: вскочил с травы, хватанул под мышки двух сельдючат, будто чурки дров, отнес и бросил их за школу, на обратном пути отвесил пинка бычку, да такого, что тот пошатнулся. Прикусив черную болячку и шипя ртом, ноздрями, выдохнул мне в лицо брызги пены: «Барашный в...! Панский кусошник!.. Если ты не спрыснешь со станка, я запорю тебя и мамочку твою — красотку!»

Вот тебе и сельдюк! Конечно же все это, кроме кипевшей на Мишкиных губах пены: и гнев его, и угрозы, и слова — выглядело мальчишеством. В детдоме умели рыпаться и повыразительней, но, право слово, я впервые столкнулся с такой, уже выношенной, что ли, затверделой ненавистью.

Ну, что мне оставалось делать? Дни и ночи возиться с Зоськой. Сестра моя — человек по складу своему совсем несовременный, человек века этак десятого времен первокрещения языческой Руси, по отсталости своей еще в младенчестве усекла, что все человечество любить ей не по силам, всех ей не охватить, и выбрала наиболее привычный слабым женщинам путь: любить и жалеть одного человека. И этим человеком оказался я. В Карасине меня дразнили: «Вава, дай ручку!» — я отбрыкивался от Зоськи, гнял ее от себя, родители наказывали ее за то, что она половинку печенинки или надкушенную конфетку таскает, таскает в кулачишке, аж пальцы склеятся. Допросят: «Зачем?» Врать дитя не умеет, и по сию пору не выучилось. «Для Вавы». В ней уже тогда выработался христианский стоицизм и большевистское упрямое стремление к истине, ко всеобщему братству, и каким-то образом не исключали они друг друга, хотя именно так, по передовой, материалистической науке, должно было неизбежно произойти.

На улице похолодало, и меня «сняли» с чердака. Каждое утро пан Стас заставлял меня чистить зубы, мыть в ушах, осматривал мои руки, придирчиво занимаясь моей личной гигиеной, гневно торжествовал, если случались по этой линии срывы и упущения, вроде как даже не решался доверить мне драгоценное «дзетя» в белых кудерьках, в цветастом платьице, в полосатых носочках и сандаликах с ремешками. Мама говорила так, чтоб слышно было строгому мужу: «Оболтус! Быдло! Заразн только ребенка царапкой, дак живо вылетишь из дому...»

Радист научил меня стрелять из ружья, и бывшая без дела двустволка пана Стаса перешла в мое полное владение. Я таскался с ружьем по ближним озерам, губил уток, и они, повалявшись на ларе в кладовке и протухнув, оказывались на свалке, где их расклевывали вороны и растаскивали чайки, — не будет же мама заниматься паскудным бабьим делом — теребить и палить уток.

Ребята-сельдючата прихватили меня в устье речки Карасихи, верстах в трех от станка. Я сидел возле закинутых удочек и караулил гусей — скоро, говорил радист, местный серый гусь станет делать разминки, сбиваться в табуны, «потянет» через песчаную косу, намытую речкой. Тут его можно достать выстрелом из прибрежных кустов.

Я почти беспрестанно поднимал гнущееся от тяжести сырое удилище и волок по воде, будто жена пьяного бухгалтера, круглого, жирного, что поросенок, язя или яркоперого, воинственно ощетиненного окуня. Сразу же подвалили в устье речки на охоту щуки и таймени. Щучины, завязывая узлы, бросались на жертву, и видно было, как, схватив сорожину поперек тела, хищница неуловимыми движениями, соря чешуей, разворачивала ее на ход головой, чтоб затем через зубастый рот отправить во чрево, и смотрела на меня из глубин, точно черт на святки через оконное стекло, сатанинским взглядом. Постой, погоди, дескать, и до тебя доберуся...

Таймени, те хулиганили, будто приезжие трактористы в колхозном клубе, ходили нарастопашку поверху, пластали воду красными наспинными плавниками и хлопали яркими мощными хвостами, будто пароходными красными плицами, вбивая в оцепененье и оглушая жертву, перед тем как ею овладеть и выкушать ее. Я соображал насчет того, чтоб взять у радиста крепкого провода, крупных крючков, соорудить что-то вроде жерлицы, выволочь таймешат, если повезет — и самого атамана, продать рыбу на пароходы и купить себе обувь. Пан Стас гигиену-то блюдет, руки тщательно осматривает, но вот что ботинки, выданные мне еще в детдоме, развалились — никак не заметит. Мама моя, та вообще отдалилась от дел мирских — так ее захватила художественная литература.

Таскаю я, значит, рыбешку неизвестно для чего — у пана Стаса полон рыботдел сигов, чиров, нельмы, стерляди, он по три-четыре бочки икры сдает на рыбозаводовский катер, зачем ему костлявая сорная рыба, цена которой девять копеек за килограмм — труд рыбораздельщицы дороже, соображаю насчет жерлиц, подумываю о школе — пожалуй что, придется мотать в город, хотя там такого доблестного ученика, как я, не особо и ждут, мурлычу под нос песнопение какое-то, слышу-послышу — хрустит камешник за спиной, оборачиваюсь: сзади меня целый выводок сельдюков во главе с Мишкой Еремеевым, и все вооружены дрынами.

— Ну, ты, рыбак веселый! — презрительно кривя широкий, мокрый рот, сказал Мишка. — Молись! Убивать тебя будем!

— Убивать? — я скосил взгляд на ружье, обернутое дождевиком. В одном стволе ружья картечь, в другом — дробь — вроссыпь на всю артель хватит, ежели в упор, да в башку — куцые мозги сельдючьи по камням, что дрисню, разбрызжет. — А я ведь, Мишка, хотел рыбы вам отнести, чтоб не голодовали...

Отчего, почему мне пришло в голову насчет рыбы? Зачем, почему я сказал Мишке самые, как потом понял, ранящие слова. Ведь, худо-бедно, пьяница Еремеев если не деньги, не хлеб, но рыбу-то привозил с неводной тони, чиров, муксунов, нельму, стерлядь, на кой им мои ослизлые окуни, рыхлые язи и костлявые сороги?.. Но не зря же я поболтался по свету, пожил среди самого чуткого народа — сирот. Я тут же усек, что сделал ляпу, допустил оплошность, и хотел что-то сказать, поправиться, как вдруг Мишка припадочно закатился, завизжал, забрызгал пеной и ринулся на меня, замахнувшись сырым березовым стягом.

Я отпрыгнул к дождевику, выхватил ружье и ударил дуплетом впереди сельдюков, нарочно ударил по камням — картечь высекла искры из камней, с визгом разлетелась по сторонам, и я увидел с гомоном убегающих сельдючат, выдернул из патронташа два патрона, пальнул им вдогон и, снова зарядив ружье, направил его на Мишку, парализованно стоявшего со стягом на песчаном приплеске, шагах от меня в трех. Целясь меж глаз, налитых страхом и ненавистью, я сближался с жертвой и на ходу цедил сквозь зубы:

— Молись, вонючий потрох! Теперь ты молись! — и упер ему оба ствола в лоб. Мишка был крепок кишкой, но холод стали, этот самый страшный, самый смертельный холод, все же не выдержал, попятился. А я не отпускал его, переставлял ноги, уперев ружье в лоб, разом вспотевший. Бог пас Мишку и меня — не споткнулся я о камень или коряжину — спуски у ружья были слабые, пальцы мои плотно лежали на обеих скобках, малейшее неловкое движение — и я снес бы голову Мишке с тощей шеи. Я подпятил его к осине спиной и, темнея разумом от власти и силы, выдохнул:

— Ну!

И Мишка, ослабев нутром и голосом, запрокинутый на бледный ствол дерева, словно распятый на плесенной стене, прошептал:

— Слав...

— Громче! Не слышу!

— Вячеслав, прости! — почти уже спокойно, вяло произнес Мишка и, отстранив рукой стволы ружья, медленно, разбито поплелся по берегу, вдоль реки, оставляя на приплеске босые следы. Издали до меня донесло громкое выкашливание, не звук плача, нет, а живого духа, живой плоти выкашливание. И когда я читал кедринские строки: «...выкашливал легкие Горький», я знал уже, как это бывает.

Тогда на заполярном Енисее стояла предосенняя пора — самое замечательное в тех местах время, без комаров, со слабым и ласковым теплом, пространственным, почти бесконечным светом, с тишиною, какая бывает только на севере, тоже бесконечной, тоже пространственной, — и в этом пространстве отчетливей и безутешней звучал плач раненного на всю жизнь подростка.

Дальше было неинтересно. Дальше за карасинской школой меня подкараулил пьяный Еремеев, ростом и статью с меня, мокрогубый тоже, с оборванными на грязной рубахе пуговицами, в телогрейке, блестевшей на полах от рыбных возгрей и на рукавах — от его и ребячьих соплей. В драную распахнутую рубаху видно ребристую грудь — такая бывает у вешних, необиходных уток, заживо съедаемых вшами, и тем не менее Еремеев хотел выглядеть мужиком-громилой, грозил мне пальцем:

— Эй ты, урка! Я те башку-то оторву!

— Че-о-о-о? — Из-за угла школы и из-за праздничной трибуны, сколоченной из неструганых досок, по углам которой ржаво краснели прибитые, полуобсыпавшиеся пихточки и елки, выглядывали раскосые ребячьи морды. Мишки среди них не было. Возле трибунки валялись съеденные еремеевским бычком елки с торчащими сучками — шильцами. И когда Еремеев, громко матерясь, бросился на меня, я схватил одну из этих елочек, отчего-то за вершинку схватил, и ударил ею по нестриженой вшивой голове. Еремеев вскрикнул «ой!», схватился за голову, поглядел на ладонь и побежал от школы, показалось мне, как-то даже радостно воня:

— Нозом! Нозом! Он меня нозом, бандит!

Я догнал Еремеева и, заступая ему дорогу, испуганно показывал «оружие», которым его поразил:

— Я елкой, елкой! Нет у меня ножа! Нет! Сучки! Сухие сучки!..

По шее Еремеева тонкими ниточками сочилась кровь. Отталкивая меня с дороги обеими руками, он упрямо рвался к сельсовету.

— Нозом! Нозом! Бандит! Бандит!..

Вечером пан Стас скорбно сообщил, что в сельсовете оформлено дело в суд, что отвезут меня в колонию для малолетних преступников, и мать, мама моя разлюбезная, хорошо изучившая желания и прихоти пана Стаса, в тон ему охотно подмахнула:

— Туда ему и дорога.

Ночью я подкрался к кроватке Зоськи, поцеловал ее в мягкие кудерьки, в соленое от пота лицо, посмотрел на разметавшихся по деревенской жаркой кро-

вати ненавистных мне супругов, на ружье, висящее над их размягшими от сна и жары телами, на патронташ, к ремню которого была прикреплена ножна с торчащей из нее ручкой ножа, недавно мной наточенного до бритвенной остроты, и как бы между прочим подумал: «Прирезать их, что ли?..» Но в это время завозилась в кроватке Зоська, невнятно позвала: «Вава! Вава!» — все услышало, все предугадало маленькое еще, но такое чуткое, никогда мне не изменявшее сердце сестры. Всю жизнь она, словно искупая вину родителей передо мною, будет беречь меня и жалеть, да так, что страшно мне бывает порой от ее святой, даже какой-то жертвенной, любви, до суеверности страшно, и я, ожесточенный сиротством и войной, никогда не смог и уже не смогу подняться до той бескорыстной мне преданности, до того беззаветного чувства, каковым наделили господь или природа мою сестру. Если бы провидение вложило перо в руку не мне, а ей, она создала бы, обязательно создала бы великое произведение, потому как сердце ее не знает зла, оно переполнено добром и любовью к людям — написать же, родить и вообще что-то путнее создать на земле возможно только с добром в сердце, ибо зло разрушительно и бесплодно.

Я побайкал мою малую сестренку, она почувствовала мою руку, успокоилась. Взглянув еще раз на нож и на спящих под ним родителей, я снисходительно им разрешил: «Живите!» — и ушел в совхоз, где грузили сеном паузок, забрался в пахучее, свежее сено, уснул в нем и проснулся уже в городе.

В одна тысяча девятьсот сорок третьем году сестра моя Зоська приехала в Арзамас, забрала меня из госпиталя и увезла к себе, «до Сибири». Работала она в ту пору на обувной фабрике «Спартак», жила в общежитии, в комнате на шесть девчоночьих душ, но как-то изловчилась, выхлопотала отдельную комнатку. Сестре шел семнадцатый год, была она заморёна, изработана, но красива какой-то издавна дошедшей, тонкой, аристократической красотой, точнее, лишь отблеск, лишь тень какого-то древнего рода докатилась до нее, коснулась ее, и в глазах сестры такое было пространство, такая загадка времени, кою не разгадать, лишь почувствовать под силу было разве что Тициану, Боттичелли, нашему дивному Нестерову, тут еще отзвук ее нечаянной северной родины с этой предосенней тишиной и бесконечностью предосеннего света. Мне всегда было боязно за каким-то дуновением донесенную, духом ли времени и природы навеянную женскую красоту, которую Зоська не ведала, хотя и ощущала, наверное, в себе, да все ей было не до себя. Она норовила недоесть, недопить, недоспать, чтоб только накормить, обстирать, обиходить братца, не убитого на войне, ночами просыпалось чадо — не побоюсь слова, ей-богу, святое, — поднимет голову, завертит тонкой шеей, что весенняя беспокойная синица: «Вава! Ты стонал. У тебя болит?..» — «Война мне снится, война. Спи ты. Тебе рано на работу».

Надо было и мне куда-то устраиваться, помогать сестре заработком и рабочим пайком. Тут же, на фабрике «Спартак», я сделался вахтером, самая одноногому подходящая должность. От ночного безделья много я читал и на проходной фабрики «Спартак» начал сочинять стихи, которых стыжусь больше, чем первородного телесного греха.

Я шел в литературу просто, по проторенной тропе стопами, лаптями, сапогами и модными туфлями многих графоманов, с той лишь разницей, что медленнее многих, потому как на протезе. Пришкандыбал однажды в молодежную газетку со стишками, и их напечатали. За патриотическое содержание. Целой подборкой. Добро, хоть догадался напечатать то убогое словесное варево под псевдонимом. Зоська разоблачила меня, раззвонила подружкам, кто скрывается под красивой фамилией — Саянский, и сделался я знаменитостью аж на всю обувную фабрику. Зоська по сию пору бережет вырезку из газеты военных лет с моими первыми стихами, как, впрочем, и весь хлам бережет пуще своего глаза — все газеты, журналы с моими творениями. Так уж повелось, что первый свой автограф на новой книге я всегда оставляю ей — моему ангелу-хранителю, и Зоська подаренные ей книги никому не дает читать, обернула их в целлофан, выделила для них в книжном шкафу отдельную полку и в «экстазе» преданности автору написала на торце полки красной краской: «Книги моего любимого брата». Дело дошло до того, что домашний художник — племянница Вичка по подсказке матери на той же полке изобразила из фольги лавровую ветвь. Ну уж, такой славы, таких почестей я выдержать не смог, упросил убрать незаслуженные атрибуты творческой доблести, пришлось даже пригрозить, что заходить перестану, если не прекратится культ моей личности в этом доме. Сестра моя огорчилась, считая, что меня затирают, оттесняют более пробивные люди, что и я, и книги мои достойны иной участи...

Да ладно, пойдем «упярод», как говорил мой второй номер у пулемета, Ероха Козлокевич, не спеша вылазить из стрелковой ниши, — всегда у него в это время находилось неотложное дело: надо было скручивать и прижигать цигарку, без которой он ни жить, ни тем более биться с врагом не мог.

Пан Стас в том же, сорок третьем году, чуть раньше моего возвращения из госпиталя, подался «до града Рязань», где формировалась армия Войска Польского. Маму мою он в Карасине оставить не решился, ее б там прикончили мстительные сельдючихи, вывез и пристроил ее уборщицей в городской магазин, определив на жительство в переселенческий барак под номером два, жилище, смахивающее на древний испанский галеон, плывущий по болоту и год от года все глубже погружающийся в оттаивающие от человеческих тел болотные хляби.

Мама моя ныла в письмах, просила не бросать ее, называла нас с Зоськой: «любимыми детками». Но Зоська отчего-то не спешила вызволять маму с севера, я тем более — мы едва-едва справлялись со своей жизнью и не пропали с голоду только потому, что на Покровской горе у нас был картофельный участок.

Мама, не глядя на мою инвалидность и на Зоськино малолетство, не постеснялась бы сесть нам на шею и сделаться нахлебником, еще и «болеть» примется — привычное ее занятие; да и жилье наше — комнатка в десять метров с кирпичной плитою об одну дырку, с двумя топчанами да дощатым столиком меж них — не располагало к расширению «жилого контингента».

Ну, а жизнь шла, двигалась «упярод». Кончилась война. Зоське повысили разряд, я пересел с вахтерской скамейки на редакционный, задами расшатанный стул, сделался «литрабом» в отделе культуры молодежной газеты. Вскорости в Зоську влюбился молодой инженер, по фамилии Рубщиков, по имени Роман. Но хоть сам-то он Роман и еще Рубщиков, да Зоська никакого с ним романа иметь не хотела. «Вава! — рыдала она. — Ты для чего хочешь прогнать меня до постороннего мужчины? Чьто я тебе плохого сделала?» Зоська, когда волнуется или радуется, малость прихватывает польского акцента — от папы Стаса это ей единственное наследство досталось, да и я вечно ее высмеиваю и дразню. Но тогда уж без всякого дурачества орал: «Дубина стоеросовая! Ты что, век меня пасти собираешься? Как божью овцу?»...

С грехом пополам изладил я все же первый, настоящий в жизни роман — вытолкнул сестру замуж. Шурин за этот самоотверженный поступок возлюбил меня еще больше, чем сестру, и живем мы с ним ладно, пожалуй что, как братья — старший и младший.

Но вот пришла пора и мне определяться. Я женился на молодой, «подающей надежды» журналистке, по имени Анюта, балующейся стихами. Тут семья складывалась со многими спотычками: Зоська привыкла опекать меня, направлять, оберегать, поить, кормить, за руку водить, как я ее когда-то маленькую водил, и с обязанностями своими расставаться не собиралась. Ох, дурная баба! Откуда бы я ни возвращался: с севера, с юга, из столицы, из зарубежной ли поездки, — в любое время дня и ночи, в любую погоду торчит на перроне с цветочком в руке. На сносях была — и то явилась. Я и ругал ее, и побить сулился, она свое: «Вава! Разве тебе неприятно, когда встречают?» Да приятно, приятно, даже более чем приятно, еще самолет катится по полосе или поезд подходит к перрону, я уж отыскиваю глазами мою сестру-красавицу, увижу — и сразу камень с души: «Слава богу, Зоська здесь, значит, все в порядке».

Анюта ревновала меня к сестре до истерик, до хворей, вгорячах даже ногой топнула: «Я или она?!» Но тут со мной сладить невозможно, тут я тоже характер проявил: «И ты, и она!» — сказал. Надолго растянулась семейная наша история. Жена моя чуть не в шею выталкивала Зоську из нашего дома, та, гляди, уж звонит: «Вава, скажи Анюте, чьто я заняла на нее очередь за яйцеми».

«Моего мужа две женщины на руках носят, потому как у него протез», — шутит над нами моя жена, как ей кажется — остроумно шутит. Сама себе подарившая право думать, что она была бы выдающимся поэтом, не сгуби я ее талант, меня она высмеивала, книжки мои, особенно первые, изданные в провинции, высокомерно отвергала, но от гонорара, пусть и жидкого, никогда не отказывалась. Я со своей в себе неуверенностью, с горького полусиротства придавленный комплексом неполноценности, пытался даже бросить заниматься литературой, но не смог.

Не знаю, что было бы со мной, с детьми, с нашей непрочной семьей, если б не сестра. Недавно, всего года три назад, хватанул меня небольшой инфаркт — спутник сидячих работ, и загремел я в больницу. Очнулся ночью, за окном Зоська поет: «Вава! Вавочка! Подай голос! Может, ты уже не есть жив?» — «Если не хотите иметь два трупа, ставьте раскладушку в палате», — сказал я врачу.

«Я знаю, ты мне послан богом», — поется в опере. Зоська уж точно не судьбою, богом мне дана. Вот не станет меня в этом мире, а произойдет это скоро: фронтовики, перевалившие за шестьдесят, долго собою не обременяют человечество, скорбнет по мне Союз писателей десятью строчками некролога в «Литературке», и тут же, в горячке речей, средь важных дел и заседаний забудут собратья по перу о том, что из колоса, возросшего на поле, возделанном мучениками и титанами мысли прошлых веков, выпало поврежденное осколком войны зернышко, так и не успевшее дозреть на ниве рискованного земледелия. Домашние мои тоже погорюют, поплачут да и примирятся с неизбежной утратой. Но переживет ли меня сестра? Вот в этом я не уверен.

Но я отвлекся.

В одна тысяча девятьсот сорок восьмом году мы с Зоськой получили квартиру в старом двухэтажном доме, и сестра сказала мне: «Вава, теперь можно привозить маму. Бог не простит, что мы ее побросали».

И я поехал на север, за мамой. На старом, знакомом мне с детства колесном пароходе, который отапливался уже не дровами, а углем, кричал бодрее, дымил чернее, шел, однако, все так же неторопливо по водам родной реки, а я наслаждался первый, кажется, раз после войны покоем и природой.

На старом пароходе было теснее, не удобнее, но в то же время все располагало к сообществу и взаимопониманию. Дня через два уже все пассажиры более или менее знали друг друга, хотя бы в лицо. Я обратил внимание на скуластого, высокого моряка с медалью «За победу над Японией». И он на меня тоже. Встретится взглядом, дрогнет широким ртом, вроде как хочет улыбнуться приветно, и тут же закусит зубами улыбку. Что-то встревожило меня, насторожило — я силился и не мог вспомнить человека в морской форме, хотя на зрительную память мне грех обижаться. Усталость, множество людей, мелькавших передо мной в войну и после, особенно в газете, заслонили собой что-то очень знакомое, до боли, до смущения ума, до сердечной муки знакомое.

На третий день путешествия, да, кажется, на третий, стоял я на палубе, опершись на брус, глазел на воду, на берега, как вдруг кто-то звонко завез мне по спине и затянул: «Вава, дай ручку...»

Я обернулся. Мне улыбался во весь рот моряк.

— Мишка! — узнал я наконец давнего своего неприятеля. — Еремеев!

— Ну, че? Стреляться будем или обниматься?

— Не знаю, как ты, Мишка, а я настрелялся досыта...

Мы обнялись, расцеловались, малость прослезились даже и скоро сидели уже на корме парохода, меж поленниц кухонных дров и бухтой каната, и у ног наших стояла «злодейка» с приветно открытым зевастым горлышком.

Вино у нас скоро кончилось, разговоров хватило на всю дорогу.

Бывают пустяки, вырастающие до символов! Якорек, наколотый на моей руке тупыми иголками беспощадных детдомовских кустарей, подвигнул Мишку Еремеева на моря. Думающий, что я живу сыто, богато и счастливо за спиной важного отчима и вальяжной мамы, ничем меня не уязвивший и ни разу в Карасине не победивший, Мишка решил достать, переслужить и переплюнуть меня в морях, совершенно уверенный, что встретит меня там однажды, поскольку у меня на руке синеет якорь, похожий на раковую клешню. Не зря же он, тот якорек, с болью, страданием, с риском заражения крови, наносился на мое живое тело. Но море широко, судьбы человеческие разнообразны, ни на воде, ни на суше не встретил меня Мишка Еремеев и ничем не отомстил, а вот себя погубил. Он тяжко болел туберкулезом, он сгорал от чахотки и ехал в Карасино умирать. Более ему ехать было некуда и не к кому, более его никто и нигде не ждал, да и тетка, сделавшаяся многодетной бабушкой, едва ли ждала. Пьянчужка ее муж, Еремеев, давно умер, поселок Карасино обезмужичел и тоже замирал, рыбу ловить стало некому, другого ничего карасинцы делать не умели.

Скоротечный туберкулез Мишка получил обыденно, мимоходом. Как и все смертельное, страшное, знал я по военному опыту, получалось до удивления просто. Служил он на эсминце «Стремительном», спущенном на воду перед самым началом войны. В боевых действиях участвовал недолго. Где-то в какой-то бухте наша военная эскадра зажала и блокировала отряд японских кораблей; всадила десяток торпед в борта ближних посудин, истосковавшись по военным действиям, жаждая громких побед, жахнула — для острастки, из главных калибров по пирсу, по набережной. Еще и дым от залпа не осел, как все побережье и корабли украсились белыми флагами. Здесь и простояла до конца боевых действий наша эскадра. Моряки гасили пожары, принимали пленных и трофейное имущество, веселились, помогали мирному населению ремонтировать причалы, жилье, кто похозяйственней, копал на склонах огороды, кто помоложе и порезвее — «дружил с приморским населением», крутил романы с девчонками.

Радостное событие, скорая победа породили некую беспечность в сердцах моряков. Ходили по океану весело, почти безоглядно, переходя на «мирные рельсы», разминировали воды и порты. Стоя на посту и на вахте, от бурности сил и брызжущей весельем нетерпеливой молодости, били чечетку на железной палубе, мечтали о надвигающейся счастливой жизни на мирной, утихшей земле, среди устало переводящего дух, надсаженного нашего народа.

Так вот однажды в этом все не кончающемся чувстве эйфории, опасной, между прочим, болезни, заступил Мишка Еремеев на пост, на верхней палубе. Ночью ударил снежный заряд. На Мишке тельник, фланелевый бушлатик, форсистая бескозырка. Но, считая себя шибко закаленным, гордым, все еще кипящий внутри от горячащего сознания совершенного однажды подвига, насквозь промокший и продрогший, замены вахтенный не потребовал, даже сухой одежды не попросил.

Утром его знобило, ломало, он встал под горячий душ и выстукивал зубами: «Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда...»

Ослабленный в детстве полуголодным житьем, но до помрачения ума самолюбивый, уже поняв, какая болезнь привязалась к нему, пробовал скрывать ее Мишка. По совету всезнающих бабок давил и ел собак на берегу, по рецептам еще шибчее знающих, просоленных моряков и знахарей корейского и китайского происхождения пил горькие травы, грыз ночами похожий на комбикорм комок глины, обматывался компрессами на горячем спирте, держался бодро, много и весело пел, смеялся.

Но силы его таяли, тело худело, провалились щеки под крутыми скулами, лицо спеклось от жаркого румянца, шелушились слабые губы, всюду выступала кость. Он пытался побороть болезнь работой, вкалывал наравне со всеми, надеялся неистовостью натуры, упрямством характера заломать болезнь или хотя бы спрятать ее от экипажа. На корабле, в тесной его железной коробке, ничего не спрячешь. Друзья по экипажу какое-то время «не замечали» Мишкиной болезни, тайно, затем в открытую помогали ему. При нынешней медицине Мишку, наверное, вылечили бы — живуч по природе парень, половину легкого отхватили бы, чего-то подтянули бы, поднакачали. Но тогда еще нечем было лечить туберкулез в открытой, тяжелой форме. Однажды, на перекомиссии, «зацепили» Мишку, подержали в одном-другом госпитале и, пока на ногах моряк, потихоньку с флота списали.

Ну и как у нас, душевных русских людей, водится, после госпиталя отвальная, братанье на родном корабле, хлопанье по плечу, благодарность командования Тихоокеанского флота, командира эсминца, старпома, замполита, пожелание скорейшего выздоравливания, счастливой жизни, доброй жены и многих детей...

Мать моя все еще была при магазине и при продавце, на этот раз по фамилии Крауничкас — что-то все бросало ее на иноземцев! Снова имелась у нее «заместительница», которая мыла и убирала магазин, огребала зимами снег во дворе, летом убирала грязь, ящики и тару. Мама, как всегда, «болела», валялась на кровати, на этот раз с выменянным на говяжью тушенку, выдранным из старого журнала романом

про любовь полудикого, страстного африканца к белой жене своего господина. Африканец ненароком со-творил госпоже серого ребенка, за что оба они — и африканец, и госпожа — понесли заслуженную кару: господин обоих полюбовников задушил в постели беспощадными волосатыми руками. «Че на свете деется-а-а! Разврат! Сплошной разврат!» — восклицала мама с неподдельным, как и прежде, восхищением и возмущением. Она безбедно перевалила войну, очень хорошо сохранилась, все еще была привлекательная, пышна телом, и я внутренне кипел, поставив в мыслях рядом с нею так и не нажившую тела, стремительную, изработанную, Зоську.

Мама моя грубым и брезгливым чутьем здорового человека сразу угадала болезнь нашего гостя и шипела на меня, зачем я его приволок? Еще заразит всех! Я ей говорил, что это Мишка! Еремеев Мишка, из Карасина, что пароход в Карасино не пристает и что, как будет попутный катер, он уплывет к тетке, но лучше бы ему в больницу, у него началось кровохарканье. Мама мне сказала, что в больницу в здешнюю его не возьмут, что надо было ему оставаться на магистрали, там есть специальные больницы для таких — называются тубдиспансер. «Мы при магазине. Не дай бог хозяин заметит», «прибалт нравен и ой-ей-ей как крут! Стас по сравнению с ним ангел небесный. . .»

Измятая, истерзанная сиротством и житьем в чужом доме, душа Мишки Еремеева, обостренней все чувствующая от приступившей вплотную смертельной болезни, конечно же уловила настроение в «мамином доме». Моряк поскорее заспешил к тетке в Карасино, и вот тогда-то, на прощанье, вынул Мишка из чемодана тельняшку, сунул ее мне и сказал с отчетливой значимостью: «Носи на здоровье!» Я попробовал отказаться — дороги тогда были вещи, но Мишка сказал, что ему тельняшка уже ни к чему, дай бог доносить ту, что на теле. И я, стиснув зубы, примолк, чтобы не издешевить наше прощанье пустословием. Когда на скользкой вонючей палубе рыбосборочного катера мы обнялись, не убирая рук с костлявой спины моряка, я попросил его простить меня за все, «в чем был и не был виноват», и писать просил, если захочется о чем-либо поговорить, если потребуется помощь и просто так.

Но Мишка Еремеев так никогда мне и не написал.

Я десять лет не снимал с себя тельняшку, носил ее от стирки до стирки. Она не только согревала мое тело, она помогала «моему перу», не позволяла предаться излишнему словесному блуду и бахвальству. Затем тельняшка как-то сама собой перешла к моему сыну. Ее укорачивали в рукавах, чинили, раза два ушивали, и однажды я увидел в ванной полосатую грязную тряпку — остатками тельняшки мыли полы.

Я не страдал так широко распространенной у нас хворью — самомнением, не болел самоздравием, знал свое место на земле, и во многочисленном ряду собратьев по перу, зная место и меру дарования, не лез «с калашным рылом в суконный ряд», не обивал пороги редакций, не канючил вставить меня в план, не кусошничал, не унижал своего человеческого и солдатского достоинства. Я почти всю послевоенную жизнь, пока не случился инфаркт, сидел в редакции, на опостылевших мне стульях и даже в креслах, с помощью зарплаты и пенсии по инвалидности худо-бедно кормил семью и себя. У меня была хорошая память и от сиротства доставшееся чувство юмора, с возрастом переродившееся, что ли, — не знаю, как и сказать, — в иронию, к сожалению порой злую. Но дарование мое невелико, и, чтобы писать, мне надо было все время «подзаряжаться», нагружать память, заставлять работать сердце, глаза, уши, нос, все, что дает возможность человеку наблюдать, слушать, чувствовать.

Во второй, творческой моей жизни свершилось все, что я мог совершить, и я устал, исчерпав свои возможности, переизнасиловал свою нервную систему, перетрудив себя, надсадив здоровье. Книги мои ненадолго переживут меня, и это их и моя справедливая доля. Лишь несколько страниц в повестях, два-три рассказа, которые я написал в молодости, в поздней инвалидной молодости, — дались мне легко, на вдохновенной волне, на душевном подъеме. Остальное: труд, труд, труд, перекаливание организма, изжигание сердца в искусственно поднятой температуре.

Я прожил творческую жизнь на отшибе, особняком, и не хвалю себя за это, но и не ругаю. Что толку в оргиях, в толпе, в дыму табачном, в толкотне и шуме.

Завидовал ли я большим и «достославным»? Да, завидовал, но зависть укрощал сам, и она меня не ослепила. Негодовал ли я по поводу того, что бесталанные царят на месте талантливых и учат их жить и работать? Да, негодовал и справедливо негодую до сих пор. Сожалел ли я о том, что не перебрался в столицы и не помаячил «на виду»? Я провинциален по духу своему, неторопливой походке и медленным мыслям. Слава богу, понял это тоже сам, и понял во-время. Заступал ли я своим скрипучим протезом дорогу веселому, дерзко-даровитому, кудрявому и звонкому? Нет, не заступал, потому как на моем пути и не встретился таковой. Бил ли я тех, кто кормился ложью, давал об себя вытирать ноги ради сиюминутной выгоды, кто откликался, как увеченный костями человек на любое изменение погоды, вторя вою переменчивых ветров: «Возьмите меня! Все сделаю, как захотите!» Один раз набил морду чиновному подлецу на месте его действия, в его просторном кабинете. Большего от меня, безногого инвалида, и требовать нечего, да на большее я с мерой моего таланта, а значит, и мужества — по Еремке шапка — и не способен, тем более что подлец тот сразу «исправился», подтверждая истину: коли каждый порядочный человек набьет морду подлецу — вся подлость сразу и истребится, вот и не хочу я отбирать такую нужную и благородную работу у других людей, устремленных к справедливости.

Не только «всему свой час», но и всякому, высокопарно говоря, творцу свой труд, свои муки, тревоги и мятежность духа: один не ладил с царем, ссорился с высшим светом, срамил мировую гармонию, да и в боге что-то его смущало, и даже в небесах не все устраивало. Другой шепотом, чтоб не разбудить детей